



Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ

Из книги «М. Ю. Лермонтов»

Глава I

ЛЕРМОНТОВ — НАТУРА ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ

1

Едва ли можно сомневаться в том, что Лермонтов, по основному укладу психики, принадлежал к числу так называемых *эгоцентрических* натур.

Этим психологическим понятием — «эгоцентризма» природы мне приходилось неоднократно пользоваться, прилагая его к Гоголю, Л. Н. Толстому, Гете¹ и устанавливая противоположное ему понятие натур «неэгоцентрических», ярким представителем которых был Пушкин. Считая понятие «эгоцентризма» природы, безусловно, необходимым для надлежащего анализа и правильного определения душевного уклада Лермонтова, полагаю нелишним остановиться здесь несколько дольше на выяснении тех черт, к которым сводится содержание этого понятия.

Оно сводится прежде всего к постоянному, затяжному и слишком отчетливому ощущению субъектом его «я»: людям такого уклада трудно отвлечься от этого ощущения, трудно, иногда невозможно, забыть, хотя бы на время, о своем «я», которое у них неспособно раствориться в впечатлении, в идее, в чувстве, в страстях. Когда такой человек мыслит или «творит», — его «я» не тонет в процессе мысли или творчества. Когда он страдает или наслаждается, — он явственно ощущает свое страдающее или наслаждающееся «я». Все процессы сознания осложнены у него самосознанием, все чувства — самочувствием. — Далее, характерною принадлежностью эгоцентрических натур является склонность противопоставлять *себя всему прочему*. Их *социальное самочувствие* выражается, вольно или невольно, в антитезах: «я и общество», «я и отече-

ство», «я и человечество»... Иначе проявляется социальное самочувствие у натур неэгоцентрических: для них общество, отечество, человечество — это только социальная среда, частицу которой они составляют; и они не склонны противопоставлять частицу целому, единичное (свое «я», себя) — собирательному.

Во избежание недоразумений необходимо оговорить (как я делал это и раньше), что не следует смешивать понятие *эгоцентризма* с понятием *эгоизма*. Между ними — коренное различие по существу дела. Конечно, иной человек эгоцентрического уклада может оказаться эгоистом, но это будет только совпадением, отнюдь не свидетельствующим о сродстве или тождестве эгоизма с эгоцентризмом. Эгоизму противопоставляется *альтруизм*. Так вот, нередко оказывается, что резко выраженные эгоцентрические натуры обнаруживают явственные альтруистические черты и стремления. И наоборот: иной человек неэгоцентрического уклада может оказаться чуждым альтруистических чувств. Мы имеем тут дело с явлениями, относящимися к различным областям психики: эгоизм и альтруизм принадлежат к области этики, — эгоцентризм и уклад, ему противоположный, — это явления другого порядка, — не этического, а чисто психологического. Эгоцентризм можно определить как род «гипертрофии» того «центрального пункта» личности, который мы называем «я». Этою гипертрофией обуславливается лишь то, что человек слишком часто и слишком явственно ощущает свое «я», причем нередко испытывает и всю тяготу этого ощущения. Гипертрофия человеческого «я» вовсе не ведет непременно к себялюбию или самолюбованию (хотя это и бывает): оно может привести к чувствам и настроениям совершенно противоположным — к отвращению от своего «я», к самоуничижению, к самоотвержению. И мы видим, что именно из числа натур эгоцентрических и выходят зачастую моралисты, подвижники, проповедники, революционеры, т. е. характеры, способные к самоотречению, к подавлению эгоистических побуждений и движимые стремлениями альтруистического порядка.

От эгоцентризма натуры, как основного и постоянного свойства ее, следует отличать временный, преходящий эгоцентризм возраста. Этот последний свойствен подросткам, юношам, молодым людям. Человеческая личность в период роста, формирования и приспособления к среде по необходимости в известной мере эгоцентрична. Раннее, еще непривычное ощущение своего «я», находящегося еще в процессе развития, есть ощущение очень острое. Юноше нужно привыкнуть к этому само-

чувствию, нужно освоиться с ним, чтобы оно утратило остроту и стало нормальным. Все стадии переходного возраста — от детства до физиологической, психической и социальной зрелости — характеризуются тем обострением самочувствия и тем давлением центрального «я» на всю психику, которые живо напоминают картину гипертрофии «я», уклад эгоцентрических натур, — вплоть до свойственной юному возрасту склонности противопоставлять себя семье, обществу, отечеству и мечтать о подвигах самопожертвования. Альтруистические влечения (вопреки естественному эгоизму молодости), благородные порывы, моральные и общественные стремления, дух протеста — все это в годы юности не только проявление «свежести», «неиспорченности», «отзывчивости» и т. д., но и прямое внушение эгоцентризма возраста.

С годами молодой эгоцентризм умеряется и часто совсем проходит. Если же он не проходит, но растет и принимает новые, более или менее яркие, формы, то тогда перед нами натура, по природе своей эгоцентрическая.

Теперь мы можем обратиться к Лермонтову.

2

Вопрос осложняется тем глубоко прискорбным обстоятельством, что Лермонтов умер молодым — на 27-м году жизни. Быть может, его эгоцентризм был не более, как принадлежностью возраста?

Есть некоторый соблазн ответить на этот вопрос утвердительно: Лермонтов до конца жизни не успел вполне определиться как личность, не вышел из состояния брожения, не сумел приспособиться к среде и духу времени. Его поэтический гений, правда, созрел и дал обильные плоды, но далеко еще не обнаружил всего богатства своих сил. Миросозерцание поэта не вполне определилось. Лермонтов не нашел своего настоящего места в жизни и даже не жил, как подобает человеку установившемуся, и только играл жизнью, «баловался», растрачивая зря свои силы. Н. А. Котляревский справедливо указывает на то, что Лермонтов не решил ни одного из поставленных им вопросов своего нравственного сознания и унес в могилу тайну своей сложной, противоречивой и мятежной души. — «Лермонтов (говорит Н. А. Котляревский) не завещал людям ничего, кроме тревожных, вечно красивых образов, в которых воплотилось неустанное стремление и борение человеческого духа. Изнури-

тельная душевная борьба приводила к ряду вопросов, на которые не было устойчивого ответа... сила вся уходила на поиски... В том виде, в каком поэзия Лермонтова перед нами, она — неразрешенный душевный диссонанс...» («Лермонтов», изд. 2-ое, стр. 253).

За 10 лет (1831—1841) литературной деятельности Лермонтова его поэтическая индивидуальность достаточно определилась, сильные стороны его великого дарования выяснились с полной отчетливостью, но тревога его души не улеглась, он не нашел своего места и пристанища в жизни. Быстрота его умственного развития и рост его поэтического гения находились в обратном отношении к его социальной приспособленности — как человека, как гражданина, как участника в жизни общества. И невольно напрашивается предположение, что период юношеского эгоцентризма затянулся у Лермонтова дольше, чем следует, и поэт умер, не успев выйти из этого периода.

Но, вникая в дело, мы убеждаемся в противном.

Если обратимся к тем — образным — произведениям Лермонтова, которые относятся ко времени расцвета его дарования, то, во-первых, должны будем признать, что эти произведения ни в каком случае не могли быть написаны человеком, который еще не достиг полноты духовного развития, законченной умственной и нравственной зрелости; во-вторых, станет ясно, что эти творения свидетельствуют о чрезвычайно ярком и стойком эгоцентризме — не возраста, а самой природы их автора. Важнейшие образы, им созданные, от Демона до Печорина, оказываются *субъективными*: в них Лермонтов воспроизвел себя самого или некоторые — существенные — стороны своей природы, равно как и свои — личные — психологические отношения к обществу, к людям, к миру. И наряду с лирикой Лермонтова эти произведения образного творчества, за некоторыми изъятиями, представляются как бы *исповедью* души, обреченной томиться под игом прирожденного эгоцентризма. Постараемся уразуметь то, что говорит эта «исповедь». <...>

Г л а в а IV

СУБЪЕКТИВНОЕ В РОМАНЕ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

1

Главное лицо знаменитого романа, Печорин, справедливо признается наиболее субъективным созданием Лермонтова:

это, можно сказать, его *автопортрет*. В нем воспроизведены важнейшие стороны натуры Лермонтова, склад его ума, его психологические отношения к людям, его социальное самочувствие.

Печорин, подобно Лермонтову, — *натура эгоцентрическая, осложненная сознанием своего превосходства перед другими людьми*. При анализе характера Печорина-Лермонтова необходимо считаться с этим любопытным осложнением. У натур эгоцентрических оно встречается нередко, причем высокая самооценка простирается у них не только на их достоинства, но и на недостатки, слабости и пороки. Человек склонен придавать своим отрицательным чертам какое-то особое значение, как будто это также своего рода «одаренность», преимущество, выделяющее человека из ряда прочих смертных. При общей склонности эгоцентрических натур говорить о себе, копаться в своей душе, исповедоваться, эта переоценка отрицательных черт приводит к *искренности* признаний, часто очень интимных, к беспощадному самоанализу, к жестокому самобичеванию. В этом отношении люди эгоцентрического уклада часто бывают *откровеннее* натур противоположных, которые, не уделяя особого внимания своим достоинствам, тем более не склонны подолгу останавливаться мыслью на своих недостатках и выставлять их напоказ. В «Предисловии» к «Журналу Печорина» Лермонтов говорит: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки». Так как Печорин есть Лермонтов, и его «Журнал» — субъективное произведение Лермонтова, то эту аттестацию искренности поэт выдал самому себе.

Начнем характеристику Печорина-Лермонтова разбором следующих признаний («Княжна Мери», под 11 июня²):

«Да, такова моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромн — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их — меня ставили ниже: я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать...» и т. д.

Это место, как известно, перенесено сюда из драмы «Два брата» (1836 г.), где соответственную тираду произносит Александр Радин (действие II, сцена I), — прототип Печорина*.

Субъективный характер тирады не подлежит сомнению: то, что тут сказано, Лермонтов пережил сам и, подобно Печорину, склонен был преувеличивать значение и результаты этого опыта жизни.

О том, что наружность поэта производила неприятное впечатление и многие, не умевшие заглянуть глубже в его душу, судили о его характере по внешнему впечатлению, мы имеем определенные свидетельства современников**. Достаточно известна также манера Лермонтова выказывать преувеличенно горделивое и презрительное отношение к людям. Это была маска, под которою он скрывал свою душу от чужих глаз. Люди судили о нем по этой маске. Откуда уже не далеко до рискованного, иллюзорного вывода: люди приписывали ему «дурные свойства», которых не было, — и они явились. Ему порою могло казаться, что маска его души в самом деле срослась с его подлинной душой...

Но обратимся к психологии данных чувств и настроений, а также и тех выводов, какие сделал отсюда Печорин-Лермонтов. Перед нами картина резко эгоцентрического уклада души. Все помыслы группируются и вращаются вокруг антитезы: «я и другие люди», «я и общество (свет)». Человек интересуется людьми и обществом преимущественно со стороны их отношений к нему, их суждения о нем. И мало у него того объективного «любопытства», которым так щедро был одарен Пушкин. Лермонтов-Печорин исходит от себя, — и все впечатления озадряются или омрачаются у него светом или тенью, падающими на внешний мир изнутри его внутреннего мира. Он все относит к себе, находя в своем «я» «мерило вещей». Читая вышеприведенную тираду, можно подумать, что его «я» так слабо, так несамобытно, что по воле людей становится игральным самым разнообразных чувств. Люди, общество могут сделать из него все, что угодно. Будут они верить ему, любить его — он будет

* См.: *Котляревский Н. А.* Лермонтов. С. 215.

** См. у Абрамовича (Полное собрание сочин. М. Ю. Лермонтова, изд. Разряда изящной словесности Императорской Академии наук. Т. V. С. XXVI и сл.). Товарищ поэта по университету, П. О. Вистенгоф, описав наружность Лермонтова, говорит: «Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение» (Там же. С. XXVII)³.

добр, отзывчив, искренен. В противном случае он станет зол, скрытен, лукав. Так думать — было бы, конечно, ошибкой. Напротив, суть дела сводится к слишком яркому выражению внутреннего «я» человека, к «гипертрофии» этого «я»: оно проявляется в самочувствии и самосознании человека с излишней тяжестью, оно выдвигается из недр души вперед, на авансцену, — и человек, получая впечатления извне и изнутри, поневоле воспринимает их не просто и не только психическими органами чувства и мысли, а также и по преимуществу своим «я». Лучи жизни прямо падают на это центральное место души. Реакция на возбуждения производится им же. И оно, это «я», вовсе не является игрушкой этих возбуждений, а только, отзываясь на них, поворачивает к миру, к людям, к среде то те, то другие стороны сложной душевной организации; все силы души — это его периферия, его армия, — их-то оно и направляет по адресу впечатлений и воздействий жизни. Оно — у натур эгоцентрических — отнюдь не играло возбудений, исходящих извне, — оно, напротив, вождь души, ее движущая сила, определяющая отношения человека к окружающей среде. С этой-то точки зрения, признания и жалобы Печорина сбиваются на то, что характеризуется поговоркой: «с больной головы на здоровую». Не люди виноваты в том, что он стал лукав, скрытен, зол и т. д. — Если уж искать виновного, то придется сказать, что «виноват» сам Печорин, — «виноват» в том, что, по тем или иным причинам, задатки лукавства, скрытности, злобы и т. д. взяли у него верх над противоположными задатками, которых у него было не меньше тех. Но он без вины виноват. Суть дела в том, что, при гипертрофии центрального «я», человек в своих отношениях к людям, к обществу невольно становится в оборонительную и наступательную позицию, а это ведет к упражнению и обострению антагонистических склонностей и «духа противоречия».

Печорин пишет: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку...» («Княжна Мери», под 11 мая). Здесь невольно вспоминаются те психологические антитезы Лермонтова, о которых я говорил в главе III⁴. Человек, душа которого исполнена внутренних противоречий и, так сказать, привыкла к их ритму, невольно при встрече с другим человеком настраивается противоречиво, антагонистически. Это доставляет ему своеобразное наслаждение — психического ритма. Печорин говорит об этом так: «Присутствие энтузиаста обдаёт меня крещенским холодом, и я думаю, частые сноше-

ния с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя...» («Княжна Мери», под 11 мая).

Весьма возможно, что, когда Лермонтов писал эти строки, он вспоминал, между прочим, о своем первом знакомстве с Белинским, о чем рассказывает в своих воспоминаниях Н. М. Сатин*.

В другой формуле Печорин определяет уклад своей природы следующим образом: «Я чувствую в себе ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы» («Кн. Мери», под 11 июня). — Было бы ошибочно видеть в этих словах свидетельство о том, что Печорин — натура грубо эгоистическая и хищная, которой чужды простые человеческие сочувствия, — человек как бы антисоциальный... Напротив, другие люди с их страданиями и радостями, безусловно, необходимы ему, он не может обойтись без них, без участия в их жизни. Как многие эгоцентрические натуры, он — человек с ярко выраженным и очень активным *социальным инстинктом*. Ему, для уравновешения его гипертрофированного «я», потребны живые связи с людьми, с обществом, и всего лучше удовлетворила бы этой потребности живая и осмысленная *общественная деятельность*, для которой у него имеются все данные: практический ум, боевой темперамент, сильный характер, умение подчинять людей своей воле, наконец, честолюбие. Но условия и дух вре-

* «...На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться, горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал шутками...» (см.: Акад. библиографический указатель русских писателей. Полное собр. соч. Лермонтова. Т. V. С. LXXIV)⁵. — М. А. Назимов, с своей стороны, вспоминал, что в те годы (на Кавказе) Лермонтов «много говорил... о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения», но что уловить его взгляд, понять его точку зрения было трудно. По-видимому, это обуславливалось не столько неясностью его взглядов, сколько его непреодолимою страстью — противоречить. — «Он являлся подчас, — вспоминал Назимов, — каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реал высоко на могучих своих крылах... Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые... заживо задевали нас и вызывали восторг..., не возбуждали в нем удивления...» (Там же. С. LXXVIII)⁶.

мении не благоприятствовали сколько-нибудь широкой и независимой общественной деятельности. Печорин поневоле остался не у дел, откуда его вечная неудовлетворенность, тоска и скука. Понятно, что ему психологически необходимо было создать себе некоторый суррогат деятельности. Он справедливо говорит: «...честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде...» («Кн. Мери», под 11 июня). И он тратит свои силы попусту — в любовных интригах, в похождениях разного рода, в будировании и т. д., заменяя жизнь игрою в жизнь, деятельность — спортом. На этом пути, конечно, душа большого человека мельчает, изнашивается, и неудивительно, если в ней обнаружатся *уклоны в патологическую сторону*.

Вот об этих-то уклонах мы теперь и поведем речь.

2

Вспомним сперва, что самому Лермонтову изображение природы и психологии Печорина представлялось как своего рода «картина болезни». Он хорошо понимал психическую и, в особенности, моральную ненормальность тех душевных процессов, которые он с таким мастерством изобразил в знаменитом романе. В «Предисловии» он говорит, что Печорин — «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...» И он заканчивает «Предисловие» так: «Будет и того, что болезнь указана; а как ее излечить — это уж Бог знает!»

Итак, мы имеем дело с «пороками» и «болезнью».

Что же именно приходится признать в психологии Печорина-Лермонтова «порочным» и «болезненным»?

Прочтем следующее место: «Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калеккой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил; тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины...» («Кн. Мери», под 11 июня).

Сперва надо уяснить себе, насколько искренен и правдив Печорин в этих признаниях. Дело в том, что приведенное место входит в ту тираду, которую, в разговоре с княжной Мери, произносит наш герой, «приняв глубоко тронутый вид». Он ведет сложную игру, расставляет свои сети, стремясь покорить сердце княжны и посрамить Грушницкого. Произнесши тираду-исповедь, он взглянул на княжну и увидел слезы в ее глазах. — «Ей было жаль меня!» — пишет он, и добавляет: «Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце...». — Спрашивается: можно ли после этого полагаться на искренность и правдивость слов Печорина? Не рисует ли он, не играет ли роль, как опытный актер и донжуан?

Конечно, в данном случае он рисует, кокетничает, играет роль... Но это не мешает нам то, что он говорит о себе, как о «нравственном калеке», принять за сущую правду. Он только высказывает ее неспроста, а с задней мыслью. По существу и во всех частностях тирада-исповедь находится в полном согласии с тем представлением о личности Печорина-Лермонтова, которое сложилось у нас на основании всех других данных.

Печорин, несомненно, «нравственный калека» — в том смысле, что одна половина его души, именно лучшая, погружена в род летаргии, не обнаруживается, не функционирует (так, по-видимому, нужно понимать гиперболические выражения: «не существовала», «умерла» и т. д.), а проявляется и действует только другая, показная, — та, которая могла проложить ему дорогу к успехам в свете, к осуществлению честолюбивых планов и т. п. — Несомненно также, что в душе Печорина живет «отчаяние», «холодное» и «бессильное», — чувство, хорошо знакомое натурам гордым, честолюбивым и властным, которым пришлось отказаться от проявления этих черт в жизни и в общественной деятельности.

Итак, одна половина души пошла на убыль, другая получила чрезмерное и ненормальное развитие, — человек оказался в *психологическом смысле* «калейкой»*, — и в этом Лермонтов справедливо видит нечто *болезненное, патологическое*, откуда недалеко и до «порочного». «Пороки» Печорина — это прежде

* Я думаю, что выражение «нравственный калека» у Лермонтова равносильно выражению «психический калека» (противопоставляется «физическому калеке») и вовсе не указывает на *безнравственность* Печорина. Это — галлицизм: словом «нравственный» переведено франц. *moral* в см.<ысле> «психический».

всего *гордость, честолюбие и властолюбие, в их ненормальном развитии, в их чрезмерном выражении.*

Вот что говорит об этом Печорин (уже в форме признаний перед самим собой): «...честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость...» («Кн. Мери», под 11 июня).

Человек, высказывающий такие взгляды, очевидно, вынесенные из личного опыта, уже близок к душевному извращению и некоторому моральному недугу. Честолюбие, гордость, и даже властолюбие, сами по себе — не пороки. Но когда они становятся *страстями*, и человек, ими одержимый, сводит весь смысл и всю цель жизни к тому только, чтобы упражнять свое честолюбие, утолять «жажду власти» и «насыщать» свою гордость, тогда он нарушает нравственный закон, гласящий, что «человек человеку — не средство, а цель»: люди превращаются для него в средство самоулаждения, — он не считается с их правами и интересами, забывает о их благе, их счастье. В применении к любви это ярко выразилось в словах Печорина: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она — как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь подымет!..» («Кн. Мери», под 11 июня).

Стремясь к одному лишь самоулаждению в любви, в жизни, в деятельности, человек становится нравственно тупым, бесчувственным к страданиям других и, подавляя голос совести, приобретает, если можно так выразиться, «вкус» к чувствам злым и мстительным. Подчиняясь им, он рассуждает так: «Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности...» («Кн. Мери», под 11 июня).

Эта «картина болезни» эгоцентризма дополняется еще двумя чертами, тесно между собою связанными: 1) *напряженным*

самоуглублением и 2) исключительною силою субъективной памяти.

О первом идет речь в следующих строках: «Страсти не что иное, как идеи при первом их развитии: они принадлежат юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться; многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой, силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускают бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие» («Кн. Мери», под 11 июня).

Под «страстями» здесь, очевидно, следует понимать «страстное отношение» к идеям, *эмоциональность* мысли, а под «идеями» — все вообще представления и понятия, но преимущественно те, которые относятся к субъективным переживаниям*. Лермонтов хочет сказать, что в юношеском возрасте человек относится к «идеям», возникающим в его сознании, страстно, эмоционально, с годами же эта эмоциональность обычно проходит. Но это далеко не всегда означает, что человек охладел и стал равнодушен ко всему на свете, в том числе и к своим душевным переживаниям. Нередко это свидетельствует, напротив, о «полноте и глубине» этих переживаний. Таков Печорин (он это и говорит о себе), — таков был и его оригинал, Лермонтов.

Но этим дело не ограничивается: перед нами психологическая картина, свидетельствующая о постоянном и упорном самоуглублении, о вечно бодрствующей рефлексии, даже о раздвоении личности («душа проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка»). Это уже выходит за пределы нормы — даже и для натур эгоцентрических. Когда человек, которому от роду всего 25—26 лет (в этом возрасте работал Лермонтов над романом), предается столь интенсивному самоанализу и думает, что достиг

* Это опять род галлицизма: французы словом *idée* обозначают не только то, что мы разумеем под термином «идея», но и то, что у нас выражается словами «представление» и «понятие».

высшего «самопознания», — мы вправе видеть здесь симптом болезненного развития души.

Другая черта — это исключительная крепость субъективной памяти, т. е. роковой дар помнить все пережитое, испытанное, или, иначе, роковая и вредная для душевного здоровья неспособность забывать. Печорин говорит: «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю — ничего!» («Кн. Мери», под 13 мая).

Такое состояние, поистине ужасное, засвидетельствовано и самим Лермонтовым — от себя лично и прозой, и стихами. Вот несколько цитат, сюда относящихся.

В одной заметке 1830-го года он рассказывает о своей детской любви. Ему было 10 лет, девочке — лет 9. Он потом забыл ее имя и фамилию, но не забывал чувства, им пережитого. И он пишет: «О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!..»⁷ — 16-летний мальчик, говоря это, может быть, и ошибся, но он правильно указал на свойство своей души — *не забывать*. — В других заметках 1830-го года любопытны следующие указания: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее теперь не могу вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать»⁸. — «Я помню один сон: когда я был еще 8 лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один ехал, в грозу, куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро несло по небу: это так живо передо мною, как будто вижу»⁹.

Очень показательны в этом смысле (сила памяти о том, что имело прямое отношение к личности человека) стихотворения «Любовь мертвеца», «Расстались мы...» («Но храм покинутый — все храм, кумир поверженный — все бог!») и нек<оторые> др<угие>. Суть дела подводится под формулу:

Забывать? — забвенья не дал Бог,
Да он и не взял бы забвенья.

(«Демон», I, IV).

На этой-то памяти пережитого, при постоянной рефлексии, при вечном самоуглублении, и основано то «высшее самопознание», о котором говорит Печорин-Лермонтов.

Оно не обходится даром. С психологической необходимостью ему сопутствуют отягощающие и разъедающие душу чувства сожаления, грусти, стыда, уныния и т. д., — смотря по характеру прошлого опыта жизни. И даже приятные, радостные воспоминания часто отлагают в душе тень грусти. Вообще, вторичные переживания большею частью унылы, иногда мучительны. Во всяком случае, они — лишнее бремя души, от которого при нормальных условиях, когда не было исключительно тяжелых испытаний, свободны натуры, не обреченные на эту муку вечного самосозерцания и самоанализа.

Нельзя не видеть, что при такой тяготе эгоцентризма открывается возможность уклона в сторону — если не болезней, то, по крайней мере, некоторых душевных изъянов, лишних расходов в эконормии внутреннего мира. Оттуда — усталость души, ее чрезмерная сосредоточенность, а также внешнее, мнимое «спокойствие», очень далекое от спокойствия мудреца, — в общем явная неуравновешенность духа, перегруженного балластом повторных переживаний, из которых многие не нужны или даже вредны субъекту.

Имея в виду все эти уклоны и изъяны, мы должны согласиться с Лермонтовым, что психологическая картина, столь мастерски им нарисованная, есть «картина» душевного недуга. И сам Печорин оказывается прав, когда называет себя «нравственным (т. е. психологическим) калекой».

В этой картине Лермонтов изобразил патологию своей собственной души.

На эту «болезнь» Лермонтов смотрел как на явление, в его время широко распространенное. В «Предисловии» к роману он говорит, что рисовал «современного человека, каким он его понимает и... слишком часто встречал». Пускай Печорин — это Лермонтов, а Лермонтов был и остается — один, индивидуальность своеобразная, исключительная, тем не менее «печоринское», оно же и «лермонтовское», в психологии людей 30—40-х годов встречалось нередко. Индивидуальный образ оказался *типичным*. Печорин в самом деле — «герой своего времени», или, по выражению Н. К. Михайловского, «герой безвременья».

